

Б. Зимин

БЕСТОЛКОВЫЕ ПОХОРОНЫ

...разве он не умирает?

Шекспир. Венецианский купец.

Сначала раздался высокий, как бы скрипичный звук, и вместе с ним что-то забрезжито, вроде сильного серенького пятна с размытыми краями, и, отвердевая, стал перед открытыми глазами кусок окна, лежа в комнату, в подибочившийся и осознавший зрачок белесый полузимний свет. В комнату заглянула мать, я узнал, что это она, по заскрипевшей двери— уже второй год, с тех пор, как я женат, не могу приучить ее стучаться перед тем, как войти— и чтоб увидеть ее, не поворачивая головы— всклокоченные, нерасчесанные со сна волосы, и добрый, слегка безумный, если смотреть подолее, взгляд ее глаз, я скосил глаза на зеркало, висевшее напротив кровати, но ровное матовое пространство было мне ответом— уже третий день зеркало было изменило завещено.

— Вставай,— сказала она тихо,— и мягким комом навалилась на сердце смущая и тягостная обязанность сегодняшних похорон.

В соседней комнате уже встали— тетка, родная сестра моей матери, и бабушка, их мать, уже третий день ночевали у нас, и оттуда слышался старческий щелест, стародевичья суета, негромкий истерический щелот.

— Рахиль? Когда же придет такси?— говорила бабушка.— Ты уже заказала?

— Успокойся, мама!— отвечала моя тетка, машину еще вчера вызвали!

— Осаф!— поворачивая щуплую бабуся глаза с дивана,

и сочетание гласных оа в его имени звучало в ее устах особенно скорбно, — это правда, мальчика скоро придет?

И уже срывающийся с места, с извечной раздражительной гримасой, и полуодрая толкающий руку в рукав лыжника отец мой /не выдержал— "курицы", и "дуры"/, — отвечая из цирко-
жей: — Я поеду вперед, в больницу водников, посмотрю, чтобы все было в порядке!

И я видел его иссосанное ленинградской блондиной лицо за окном автобуса, с извечным надломом, очерченное столь сухой иглой тески, и безнадежности, и злобы, что даже я, всему свидетель и генетический преемственник, рухнул бы, и не выдержал, и сам бы умер, распался— покатилась бы моя голова, и руки бы вывалились из суставов, и кролиную кожу разверзся пах, если бы мне пришлось носить в себе ежесекун-
дно и переживать такое.

— Мама, — сказала мне бабушка, — позвони насчет машин!

— Не беспокойтесь, бабушка, — отвечал я, растирая слегка саднившее после бритья, румяное, не в зеркале, потому что завещено, а так, на ощупь, лицо, — скоро она придет.

— Ты знаешь? — говорила она с укоризной, и я уже насту-
пил на брови, и Рашиль, хорошо знакомая с налей фамильной нетерпимостью, уже боясь резких слов и скандала, столь же пристойного и столь возможного в этот день, — говорила— у-
спокойся, мама, но тут зазвенел телефон и женский голос с жестяным привкусом вопреки мое ухо: "Машину заказывали?"

Я вышел на улицу встречать такси. Погода была неорди-
нарная: снег, выпавший осенью, то есть— неестественная, лож-
ная и хрупкая белизна, почти прозрачная от переменчивой
теплоты и черноты, подправившей ее, — в чисто ленинградском
неустойчивом стиле.

Бабушка и Рашиль бежали когда-то куда-то в "эвакуацию" из Хитомира, и почему-то на корабле, и стояла страшная толкотня и давка, и визжали и рвались рядом с хитомирским портом смертельные антисемитские бомбы, и их растащили в толпе, но они как-то дотянулись друг до друга и с тех пор не разнимали рук - и это проявлялось в холодной методичности, с которой бабушка отваживала провинциальных маслых и представительных юнкеров от дочери, и в ребости и индифферентности дочери на этот счет, и в том, что каждый каприз этой высившей из ума, но холодной и расчетливой фурии она выполняла беспрекословно.

В машине мы с теткой перегорались. Я пробовал объяснить шоферу, как быстрее доехать, а она мешалась в беседу,-мол, ему лучше знать,- как бы подлизываясь к нему, долгим поруганным опытом боясь нарваться на грубость, и потому запискав, и меня взбесил этот ее испуганный тон, я сказал: "Замолчи, не мешай!"

Но вдруг и она окрысилась, и когда мы приехали, то оказалось, что я был неправ, потому что в этом месте не было левого поворота, так что надо было от Калинкина места вдоль Фонтанки сотни метров пройти пешком.

Под аккомпанемент обвинений и причитаний я шел к зелено-штукаатуренной стенке больницы, где у подворотни стоялась уже стайка близких и дальних родственников. Сквозь длинный больничный, с продрогшими черными панцирами деревьев двор мы все,- и хромая, тоистущая тетя Сося- не покойница, и ее тезка- с опиным, многоступенчатым от жира лицом, и ее седенький муж, и моя мама, его сестра, и Рашиль, и седая востропицая мать их, и я, и дочь покойной, и еще кто-то,

находился, это была моя красивая двоюродная сестра в собачьей шубе, — прошли туда, где за линялой и облупленной дверью лежала покойница.

Покойница — это комната. И несмотря на карбоновый залож, хрустящие восковые венки, и обилие измождённых, вернее живых, но мертвенно-бледных от прохлады цветов, — сама акустика в ней и буднично заклеенное белое лентой окно, и сор по углам, — придавали ей уютный вид.

В центре стоял красный гроб. Из-за чьей-то спины, обеих ее, я увидал лицо умершей, и удивился, насколько простое и благородно-безразличное выражение его отмечает, и некий ложной сонял мне на душу, какое-то уверенное и даже блажестное, я бы сказал, чувство.

Она умерла от удушья, но это не оставило гримасы страдания на ее лице — на мучительном этом поединке с небытием, который зовется смертью, оно не наставало, и рыданий словесных не провоцировало — я удивился той тихой, не воинской, но — до дна души оплакивающей скорби, с которой принесли ее в свое чрево, и как бы раскачивали на руках сострадания и горя эти старые женщины, и моя мать, и старухи.

Бесконечно тронутый, я вышел оттуда, и увидел, что идет уже легкий снег, и завернув за угол, закурил, и стал расхаживать вздоль покусстой стены больничного пангауза, следя за сонном летящими с небес белых мух, удивляясь, что даже это незамысловатое, каждодневное — снег — может смотреться в иных обстоятельствах — трагедийной завесой, отделяющей прочтания хора от появления вестника.

Подъехал востроносый, не приятно-бешеный с черной лентой автобус и доволитый пофер в белой безобразной вязаной

шапочке с козырьком спрыгнул с подиума и ушел за дверь. Я понял, что сейчас понадобится моя помощь и последовал за ним. Он, видно, уже сказал, что надо, моему отцу, и тут же вышел, и я, повернувшись, услыхал: "Ах, чего-то она еще не доделала..." И чуть позже: "А ведь она так хотела жить!"— громко вздохнула какая-то незнакомая женщина, кажется, соседка умершей. И настолько нелепым было это нарочитое расчесывание не своих даже, но чужих сердечных ран, что я чуть былье не приснулся, и, сохранив приличие, должен был незаметно высокользнутии из комнаты— вероятно для того, чтобы нос к носу столкнуться с зятем покойной— с веселым красноденником человеком, который уже распоряжался там за дверью: — Пора, пора!— лионерским рожком, добрым утром звенел его голос в тишине морга,— машина ждет! Труба зовет!

Все имели и тогда: "Да это, никак, Миша,— раздалось за моей спиной, и я увидел старшего брата моей матери, отца той самой красивой двоюродной сестры, и удышалась, протянув ему руку. Но тут же услышали шипящее сбоку: "Не здороваться сюда пришли, но прощаться!"— и его лицо— лицо мрачного местечкового Гамлета, засинявшего во время бомбежки, или собственное каждое чего-то невозможного с ним, но безумно привлекательного, собственное неленою мечтой заваленного человека, дернулось у меня перед глазами и чтобы куда-то деть руки, оскверненные приветствием и здоровьем, я взял молоток и, не весть как очутившись рядом с груженным гробом, стал прилежно его закопачивать.

Шли долго. Зять задыхающейся женщины, видимо, для удобства, решил похоронить ее рядом со всеми родителями, чтоб не слоняться по разным кладбищам, подновлять ограды и служить лишь с венками,— и повез ее далеко за Ленинград,

в Павловск, где они, волею судеб, были похоронены.

И когда толпа пожитых некрасивых людей сгрудилась у ворот кладбища, я увидел - на встречу им шагали трое молодых румяных парней - клиноволосые, разного калибра одетые, кто в салогах и немыслимо модных куртках, кто в ватнике замятного цвета и арко-лаковых кожаных ботинках с медными пряжками, - они напоминали какую-то невозможную битловую группу, таких сейчас много - каких-нибудь "удальцов", "дервишей" или "пришельцев", но прительцами, совершающими непонятный им, даже, вероятно, юмористический ход, были здесь мы. И подбежав к ним, отец мой и развеселый рабочий зять, стали им что-то демонстрировать и показывать, а они молчали, продолжительно улыбаясь напряженной, слегка хмельной улыбкой.

Я нес гроб к могиле, но думал о многом: о женщинах, чье лицо вдруг бросилось мне в глаза, - раскрашенное наподобие илленской гротескной маски, где условно, мелом и сурьмой написано было "красота". Она - сестра моего отца, была когда-то и впрямь молодой и заигнательной, и ее полюбил самой "мировой" парень нашего двора, лихой аккордеонист и завидубом в зеленогорском санатории, Володя Матроскин и, поматросив с нею лет пятнадцать и наделив взрослою дочерью, оставил и ушел к другой, но она напряглась, и в безумном борении, приведи свою дочь почти до летти, а себя до неназываемой сердечной болезни, заставила его вернуться, но навсегда ее лицо обрело с тех пор малкий размалеванный облик оставленной Наполеонки.

Но вот гроб раскорячился красными торцами на козлах над могилой и молодые могильщики, суяясь, приготовили какие-то жерди и веревки, нужные им в деле, и тут возникла

заминка, очень недолгая — открывать ли гроб, но зять покойной, закурил и облаком свою жену, дочь умершей, протрубил, напрягшись и краснея, как бас-голосист: "Вперед,сыпьте ее туда!" И вот я уже держусь за какой-то ремень, и со стуком опускаю гроб в яму.

Долго стояли мы, проглядывая, как разгоряченные вином и работой хипстеры танцевали с ледатами над могилой, и, отвлекшись, яглядел и никак не мог привести в соответствие две следующие надгробные надписи: "Из Соломонове Лейбина. Скорбящие муж и сын." "Марку Петровичу Лейбину. Скорбящие сын и жена." Поскольку даты смерти стояли на надгробиях разные, то получалось, что то ли жена, то ли муж скорбели друг о друге из дальней стороны смерти.

Могилу засыпали. И тогда вдруг около холма, держась рукой за чужую ограду, возникла бабушка и запричитала над засыпанной дочерью на неизвестном мне языке, и хоть она, усопшая, умерла от удущья, но с тем был надгробный бабушкин плач, ибо единственное слово, мною понятое, было слово "идиш" — "еврейка" и бабушка среди снега была странна — сухонькая, дрожавшая, ориентальная...

Мой отец подошел к ней, чтоб увести, но с дергающимся лицом бросился к нему странный субъект, тот самый полуузаваленный местечковый герой, мой родной дядя, отвлекая его от старухи, — пусть говорит, не меняй!

И глядел на них, столь похожих, но уже не совсем и людей, на двух старых, больных, измощотых жизнью мужчин, я внутренне гаркнул: "Ты, кто есть Бог или Некто, хоть и с малейшим оттенком личной воли, — что ты соделал с ними в неумолимом и страшном течении своих законов? И зачем шескнул ешкую испечь их бытия в мою душу?"